

Предисловие

Такова неотвратимость нашей участи: любовь и надежда, страх и смерть, переплетенные с нашими недостатками, запретами, ревностью и алчностью.

ПРИБЕЖИЩЕ

I

Прежде всего — вот в каких условиях она росла до пятнадцати лет: каменные коробки битком набиты беднотой; газовые рожки бросают тусклый свет на выкрашенные зеленой краской стены тесных прихожих; кажется, будтоходишь не в жилой дом, а в морг; стены грязных комнат и коридоров выкрашены синей, коричневой, зеленой краской, чтобы сэкономить на обоях; голые деревянные полы давным-давно пропитались грязью, дешевым жиром, маргарином, салом, пивом, виски и плевками табачной жвачки. Иной раз какой-нибудь любитель чистоты и поскребет пол в своем углу — предполагается, что таким способом в доме поддерживается чистота.

И где бы она ни жила, квартал за кварталом тянулись такие же голые, однообразные каменные коробки, битком набитые людьми; с грохотом неслись подводы, всякие повозки, воняющие бензином грузовики. Духота и пыль летом, ледяной ветер зимой; кое-где бродячая кошка или собака роется в мусорном ящике, и надо всем бдительное око величественного полисмена, и всюду снуют люди, люди... Бог весть как они добывают кусок хлеба, и живут они так, как только и можно жить в таких условиях.

В этой обстановке, то перебиваясь кое-как, то катясь по наклонной плоскости, а то и вовсе в ужасающей

бедности, жили портовые грузчики, возчики, уборщицы, судомойки, официанты, швейцары, прачки, фабричные рабочие. И, насколько ей было известно, единственным источником существования для всех этих людей было нечто загадочное, изменчивое и зыбкое, что называлось еженедельной получкой.

Ее всегда окружало пьянство, драки, жалобы, болезни, смерть; являлась полиция и забирала то одного, то другого; приходили сборщики платы за газ, за квартиру, за мебель, барабанили в дверь, требовали денег и не получали их... В свое время являлся и гробовщик, его встречали отчаянными воплями, словно такая жизнь была бог весть каким счастьем.

Неудивительно, что, по общему мнению, ничего хорошего в такой атмосфере вырасти и не может. Как? Цветок, распустившийся на помойке? Вот именно, и не так уж редко на помойке рождается цветок, но едва ли он достигнет пышного расцвета. И однако, здесь может распуститься цветок души — во всяком случае, появиться здесь он может. А если он сморщится и увянет в этом отравленном воздухе, что ж, пожалуй, это естественно, хотя в действительности далеко не все цветы, рожденные на такой почве, увядают. Цветы бывают разные.

Глядя на Мэдлейн Кинселлу, когда ей было пять, семь, одиннадцать и даже тринадцать лет, можно было согласиться, что она и в самом деле своего рода цветок — быть может, не из числа гордых, великолепных орхидей или гардений, но все же цветок. Ее очарование было проще, скромнее; в ней не было той яркости, которую обычно называют красотой. Она никогда не была ни румяной, ни цветущей, ни задорной и смелой. С детства она всегда пряталась от жизни, забиваясь в самые уединенные и укромные угол-

ки, удивленно, подчас испуганно глядя на все широко открытыми кроткими глазами.

Ее лицо — нежно очерченное, бледное — ничем не поражало с первого взгляда. Серо-голубые глаза с темными зрачками, черные волосы, тонкие длинные пальцы — все это никак не могло понравиться молодым людям ее среды. Каждое движение ее гибкой, стройной фигурки было проникнуто бессознательной грацией. Рядом с грубоватыми, цветущими, крикливыми девушками, которые ее окружали и которые нравились парням, она была незаметна, но все же казалась в иные минуты очень миловидной, подчас даже красивой.

Тяжелее всего на ее юность и на всю ее жизнь повлияла обстановка в семье — бедность и полная ничтожность ее родителей. Они были так же бедны, как и все кругом, и вдобавок это были люди сварливые, озлобленные и ничтожные. Когда ей было лет семь-восемь, в ее сознании стал смутно вырисовываться облик отца; этот маленький человечек, вечно пьяный, вздорный, болтливый, постоянно был без работы, вечно ссорился с матерью, сестрой, братом; а мать всегда попрекала его, называя горьким пьяницей.

— Врешь! Врешь! Врешь! — Как хорошо ей запомнился этот его неизменный припев, звучавший у нее в ушах, в каком бы подвале, в какой бы жалкой дыре они ни жили. — Врешь! Не делал я этого! Врешь! Не был я там!

Мать ее, постоянно угнетенная своими болезнями, часто сама полупьяная, не оставалась в долгу и отвечала ему в том же духе. Старшие брат и сестра были приятнее в обращении; им так же доставалось, как и ей; но они лишь ненадолго появлялись откуда-то и вновь исчезали, чтобы переждать домашнюю

грозу; она же, робкая и боязливая, принимала все это как неизбежное, быть может даже необходимое: ведь жизнь так сурова, загадочна, непостижима.

Нередко бывало и так:

— Эй, ты, крыса, сбегай, притащи мне пива! Да поживее!

Она хватала кувшин и, испуганная, крепко сжимая тонкими пальцами доверенную ей монету, бежала в дешевую пивнушку на ближайшем углу, дивясь по дороге всем чудесам и радостям улицы. В то время она была еще такая маленькая, что не могла дотянуться до стойки, и ей приходилось прибегать к помощи бармена или какого-нибудь посетителя. И она терпеливо ждала, пока ей наливали пиво и дразнили за малый рост.

Раз, только раз на нее напали по дороге трое мальчишек; они знали, куда она бежит, знали, что ее жалкий замухрышка-отец страшен разве что своим домашним, — и они выхватили у нее деньги и удрали; вытирая слезы, она в страхе вернулась к отцу, а он ударил ее и выругал за то, что она не отбилась от мальчишек:

— У, чтоб тебя, на черта ты годишься! И этого не можешь сделать!

Ей бы пришлось много хуже, если бы мать не оказалась трезвой и с бранью не вступилась за нее. А на долю мальчишек, отнявших деньги, достались лишь ругательства и страшные проклятия, которые никому не причинили вреда.

Несколько иное, но не менее жалкое существование вели два других члена семьи: ее брат Фрэнк и сестра Тина.

Фрэнк был худощавый, подвижный подросток, способный подчас так же вспылить, как отец, и отнюдь не желавший безропотно подчиняться отцовской во-

ле. Мэдлейн помнила, что по временам окружающая обстановка страшно возмущала его, и он бранился и проклинал все на свете, даже грозился уйти из дому; в другие дни он бывал настроен довольно мирно, во всяком случае, не принимал участия в отвратительных сценах, которые постоянно устраивал отец.

Мальчишкой лет двенадцати-тринадцати Фрэнк поступил на какую-то фабрику и некоторое время приносил свой заработок домой. Но часто дома для него не находилось ни завтрака, ни обеда, и, когда отец и мать бывали порядком на взводе или ругались, все в доме приходило в такое запустение, что, будь даже семейные узы и крепче, человек, хоть немного повидавший жизнь, не мог бы вынести эту обстановку — и Фрэнк сбежал.

Мать вечно жаловалась на прострел и не поднималась с постели даже в те времена, когда Фрэнк и Тина работали и приносили домой свой заработок или хоть часть его. Если она и вставала, то лишь для того, чтобы повозиться около убогой плиты и вскипятить себе чашку чаю, и все это — не переставая жаловаться.

Еще совсем крошкой Мэдлейн слабыми, неумелыми руками пыталась помогать матери, но не всегда знала, как взяться за дело, а мать была то больна, то плохо настроена и не подпускала девочку к хозяйству.

С Тиной получилось то же, что и с Фрэнком, только это произошло еще раньше.

Когда Мэдлейн шел шестой год, Тина была уже большая десятилетняя девочка, миловидная, веселая, с золотистыми волосами; она работала где-то в кондитерской за полтора доллара в неделю. Когда же Мэдлейн было восемь лет, а Тине тринадцать,

она перешла на пуговичную фабрику и зарабатывала уже три доллара.

Мэдлейн смотрела на сестру со смутным чувством восхищения и страха; ей чудилось в Тине что-то смелое, непокорное — в ней самой этого совсем не было, и она не могла бы определить, что это такое, ведь она еще плохо разбиралась в жизни. Просто она видела, что Тина, миловидная, крепкая, уже с девяти лет отказалась бегать за пивом по приказу отца, хоть он и ругал ее, даже колотил или швырял в нее чем попало; нередко ей доставалось и от матери; часто после работы или в воскресный вечер она стояла на крыльце, глядя на людную улицу, или прогуливалась с другими девчонками и мальчишками, хотя мать велела ей подмести, вымыть посуду, прибрать постель или выполнить еще какую-нибудь скучную, унылую домашнюю работу.

— Хватит тебе красоту наводить! Хватит, говорят тебе! — кричал отец, как только она подходила к разбитому зеркалу поправить волосы. — Вечно она крутится перед этим чертовым зеркалом! Если ты не отойдешь сейчас же, я выкину тебя вместе с ним на улицу! На кой черт ты вечно перед ним вертишься?

Но Тину все это, как видно, мало трогало, она только отмалчивалась, а иногда с вызывающим видом расхаживала по комнате и напевала. Она старалась одеваться как можно наряднее: видно, ей казалось, что этим она может хоть немного скрасить свою невеселую жизнь. Она всегда все прятала, не позволяла домашним трогать ее вещи. Чем старше она становилась, тем больше ненавидела отца и в горькие минуты называла его пьяницей и дураком.

Тина никогда не была послушной дочерью: отказывалась ходить в церковь и почти ничего не делала по дому. Когда отец и мать напивались или затевали

драку, она, бывало, улизнет и сидит у какой-нибудь подружки по соседству. И хотя они жили в убожестве и нищете, вечно переезжали с места на место, скверно питались, Тина в двенадцать-тринадцать лет уже ухитрилась всегда выглядеть нарядной и миловидной.

Мэдлейн часто вспоминала ее клетчатое платье, неизвестно где раздобытое, которое было так к лицу Тине, и позолоченную булабочку у ворота. Сестра как-то по-особенному высоко укладывала свои золотистые волосы, — эта прическа больше всего запомнилась Мэдлейн, быть может, потому, что отец вечно ругал за это Тину.

II

Неудивительно, что в двенадцать-тринадцать лет Мэдлейн ничего не знала, ничего не умела и ничего по-настоящему не понимала в огромном мире, который ее окружал. С тех пор как отец умер от воспаления легких, а брат и сестра ушли из дому, чтобы начать самостоятельную жизнь, пьяница-мать оказалась, в сущности, на ее попечении.

Первое время Мэдлейн могла только выполнять мелкую подсобную работу в лавках и мастерских или помогать матери, когда та нанималась стирать и производить уборку. Если у них вовсе не оставалось денег на квартиру, на обед, на уголь, миссис Кинселла бралась за какую-нибудь случайную работу в прачечной или на кухне, мыла полы или окна, но все это ненадолго: пристрастие к спиртным напиткам скоро лишало ее и этой работы.

Мэдлейн до тринадцати лет только помогала матери, а потом ей удалось самой получить работу на кондитерской фабрике за три доллара и тридцать

центов в неделю — заработок хоть небольшой, но регулярный, однако не было никакой уверенности, что мать прибавит к нему столько, чтобы хватило на еду и на топливо. Нередко, пока дочь работала, мать заливала вином свои горести, а по вечерам и по воскресеньям вознаграждала Мэдлейн пьяной болтовней, от которой на душе становилось еще тягостней.

Иногда девочка буквально голодала. Подвыпив, мать обычно начинала хныкать и вспоминать всю свою несчастную жизнь, отчего ее робкая и очень отзвучивая дочь приходила в полное уныние. Девочка мучительно искала хоть какого-нибудь выхода. Массовые увольнения на кондитерской фабрике снова вернули ее в ряды тех, кто безуспешно ищет работу. Одна соседка, пожалев ее, сказала, что на рождественские дни нужны продавцы в универсальном магазине, но к этому времени Мэдлейн так обносилась, что с ней там и разговаривать не стали.

Потом владелец ресторана на соседней улице взял ее и мать в судомойки; мать он вскоре вынужден был уволить, но Мэдлейн хотел оставить. Однако ей пришлось сбежать оттуда, даже не получив сполна тех ничтожных денег, которые ей причитались, потому что повар напугал ее своим чрезмерным вниманием. Потом Мэдлейн устроилась прислугой в одной семье, где она прежде вместе с матерью мыла полы.

Кто имеет хоть малейшее представление о жизни прислуги, тот знает, как убога, однообразна и беспросветна эта жизнь. Где бы ни жила Мэдлейн в прислугах — а лучшей работы ей найти не удавалось, — в ее распоряжении были только кухня или каморка под самой крышей. Здесь она должна была проводить все время, если не работала где-нибудь по дому или не уходила навестить мать. Кастрюли и скво-

родки, чистка, мытье, уборка — в этом проходила вся ее жизнь. Если кто-либо, кроме матери, хотел ее видеть (что случалось редко), можно было пройти только в кухню, мрачную и неудобную.

У нее, как она скоро поняла, не было никаких прав. Утром она должна была подыматься раньше всех, даже если накануне ей пришлось работать до поздней ночи. Она должна была прежде подать завтрак другим, а потом уже могла поесть сама, что останется. Затем она подметала и убирала комнаты. В одном доме, где она служила, когда ей шел пятнадцатый год, хозяин так приставал к ней, стоило только жене отвернуться, что Мэдлейн пришлось уйти; в другом доме к ней приставал хозяйский сын. К этому времени она похорошела, но по-прежнему была незаметна и робка.

Но где бы она ни была, что бы ни делала, она постоянно вспоминала о матери, Тине, Фрэнке, об отце, о безысходной нужде, о слабостях и пороках, которые погубили их. Ни брата, ни сестры она так больше и не видала. Мать же — Мэдлейн знала это (несмотря ни на что, она жалела старуху) — останется с нею до конца дней своих, если только Мэдлейн не сбежит, как другие.

С каждым днем мать все больше опускалась, все меньше могла сдерживаться и думать о ком-либо, кроме себя. И хоть она была плохая мать, Мэдлейн невольно думала о том, как тяжело ей всегда жилось. Где бы мать ни получала работу (а теперь это бывало не часто), ее скоро прогоняли, и тогда она являлась к хозяйке Мэдлейн и просила разрешения повидать дочь. Ее замызганное платье, рваная шаль, бесформенная шляпка, весь вид этой опустившейся женщины, естественно, вызывали негодование в каждом добропорядочном доме. И если только Мэдлейн позволяли

выйти к ней, старуха начинала жаловаться на свою горькую нужду.

— Господи, масла у меня ни капли не осталось, угля ни крошки нет! — Она плакалась, что у нее нет то хлеба, то мяса, но никогда — что нет виски. — Ты ведь не допустишь, чтобы твоя бедная мать мерзла и голодала, правда? Ты же добрая девочка. Ты дашь мне пятьдесят центов, деточка, если у тебя есть, или хоть двадцать пять, и я к тебе тогда долго не приду. Ну, хоть десять центов, если уж не можешь дать больше. Бог тебя наградит. Завтра я сама возьмусь за работу. Ты же добрая, ты не прогонишь меня ни с чем.

Стыд и жалость боролись в дочери, когда она делилась с матерью тем немногим, что у нее было, дрожа от страха, как бы появление этой неприглядной старухи не навлекло на нее неприятностей. Потом мать уходила; нередко она бывала навеселе и ноги ее заплетались, а кто-нибудь из прислуги, должно быть, видел это и доносил хозяйке — та, конечно, не желала больше пускать старуху на порог и так и говорила Мэдлейн или для верности просто давала ей расчет.

Так от четырнадцати до шестнадцати лет она переходила из дома в дом, из лавки в лавку в напрасной надежде, что мать наконец оставит ее в покое.

И все же это была пора ее юности, когда кровь быстрее бежит по жилам, когда жизнь зовет — та большая, неизведанная жизнь, которая сулила ей все, потому что до сих пор еще ничего не дала. Маленькие радости бытия, грошовые наряды и украшения — все, чем тешится юность, которой всегда свойственно желание нравиться, — все эти пустяки приобрели в ее глазах особое значение. Она достигла возраста, когда все перестраивается в молодом существе, когда эхом откликаются друг другу мысли, краски, мечты. Весь мир раскрывался перед ней.

И конечно, любовь не заставила себя долго ждать: появился некий выдавший виды молодой человек и от нечего делать стал ухаживать за ней. Отец его был довольно состоятельный бакалейщик, и он по сравнению с Мэдлейн был человеком уже какого-то иного круга. Молодой человек был хорош собой: румяный, светловолосый, голубоглазый, и самодовольства его хватило бы на десятерых. Он мимоходом заинтересовался робкой миловидной девушкой.

— А я вас вчера видел, вы мыли окна! — Или с той же сияющей, неотразимой улыбкой: — Вы, верно, живете недалеко от Блейк-стрит. Я вижу, вы часто ходите в ту сторону.

Мэдлейн смущенно отвечала, что это верно. Какое чудо, что ею заинтересовался такой блестящий молодой человек!

По вечерам, да и в любое время, если она шла по какому-нибудь поручению или к матери, которую она навещала в ее убогой каморке, он, заметив ее в стремительном людском потоке, с ловкостью опытного волокиты подходил и заговаривал с ней. Он пробовал напроситься в гости, но это не удавалось, потому что и комната матери, да и сама мать были слишком уж убоги. Наконец он убедил ее, что не может быть ничего лучшего, как в ближайшее воскресенье прокатиться в автомобиле в одно из шумных веселых местечек на побережье, куда он любил ездить со своей компанией.

Один только раз побывала она в стране чудес и окунулась в вихрь развлечений, один только раз побывала в зале, где он учил ее танцевать под звуки музыки, сливавшейся с плеском волн, один только раз пообедала она в шумном раззолоченном ресторане — и самые радужные надежды пробудились в ее душе, казалось — вот-вот сбудется мечта о счастье.

Да, жизнь более радостна, чем она думала прежде, — во всяком случае, ее можно сделать радостной. Не все люди дерутся и кричат друг на друга, в мире есть еще и нежность, есть и ласковые, теплые слова.

Но столь искушенный молодой человек с девушками не медлил и не любил околичностей. В девичьей свежести он способен был находить только преходящее удовольствие, как в цветке, который можно сорвать и бросить. Он был из породы людей, которые в погоне за удовольствиями растаптывают чужую молодость — молодость тех девушек, чья жизнь так уныла и безрадостна, что они готовы все отдать за ласковое слово, за малейшее развлечение, за одну возможность побыть в обществе человека более опытного и сильного, чем они сами.

Такою была и Мэдлейн.

Стоило в ее пустом, безрадостном существовании появиться красивому, самоуверенному и опытному мужчине, который показал ей такие чудеса, какие ей и не снились, повел ее туда, где много огней, красок, убедил ее, что она создана для лучшей жизни, хоть, может быть, эта жизнь придет еще и не завтра, — и Мэдлейн доверилась тому, кто меньше всего был достоин доверия. Чтобы добиться своего, он даже вел разговоры о свадьбе когда-нибудь в будущем, о том, что любовь должна быть великодушной, доверчивой, а потом...

III

Сыщик Эмундсен, ястребиным оком наблюдая за районом Четырнадцатой улицы и Кай-стрит, неподалеку от Блейк-стрит, где одно время жила Мэдлейн, заинтересовался новым лицом, которое показалось ему несколько подозрительным.

Уже с неделю, в разные часы дня, он замечал в своем районе девушку, то крадущейся, то вызывающей походкой проходящую по улицам, где порядочным женщинам и появляться-то не следовало. Разумеется, он еще не видел, чтобы она с кем-нибудь заговорила; да и не было в ее взгляде и движениях ничего, что наводило бы на мысль, будто она может заговорить.

Все же уверенно, как старый, искусный блюститель нравов, не раз ловивший такую дичь, он незаметно пошел за ней, следя, куда она идет, как пугливо медлит на углу, затем поворачивается и идет обратно. Она была совсем молода, не старше семнадцати лет.

Сыщик поправил галстук и решил испытать свое искусство.

— Извините, мисс! Вышли прогуляться? Я тоже. Позвольте вас немножко проводить. Может, зайдём и выпьем чего-нибудь, а? Я работаю в гараже, тут недалеко, на Грей-стрит, у меня как раз свободный вечер. Вы живете тут поблизости?

Мэдлейн с опаской посмотрела на него. Чего только не натерпелась она после того, как любовник бросил ее! Не желая ни признаться своей пьяной и вечно сонной матери, ни просить ее о помощи, Мэдлейн всеми силами старалась найти хоть какую-нибудь работу. Надо было как-то кормиться, да и ребенок, рождения которого она ждала со страхом и стыдом, требует новых расходов, и о матери приходилось заботиться, — все это под конец заставило ее прибегнуть к позорному ремеслу, хотя бы на время. В те дни, когда она вся в слезах бродила по городу, одна девушка подобрала ее, кормила некоторое время и потом научила уму-разуму.

Ее безжалостным и преступным способом избавили от того, что так угнетало и страшило ее. А затем,

не находя пока иной опоры в жизни, она обучилась уличному ремеслу; но скоро поняла, что нелегко ей привыкнуть к этому чудовищному виду торговли. Не для нее это было. Она искренне думала, что недолго будет заниматься таким делом; это был только временный выход, подсказанный страхом и отчаянием.

Но ни сыщик Эмундсен, ни блюстители закона не желали верить Мэдлейн. Для Эмундсена она была просто одной из многих, одним из тех погибших созданий, которым по тупости и легкомыслию предоставляют цвести и увядать в городских трущобах. Сидя с ним в кафе, она слушала, как он рассказывает про комнату, которую то ли снимает, то ли может снять в ближайшей гостинице. Проклиная судьбу, которая заставила ее принимать такие милости, твердо решив как можно скорее покончить с этим и найти для своей жизни лучшее применение, она пошла за ним.

Потом ей открылась страшная истина: он — представитель закона, шпик, который наглой, презрительной усмешкой отвечает на ее слезы и объяснения. Он и не подумал, что она, такая юная, едва ли могла быть столь закоренелой преступницей, какой он ее изобразил. Ей пришлось под взглядами прохожих идти с ним в ближайший полицейский участок, а он, встречая своих собратьев, кивал им или останавливался и объяснял, что за добычу он ведет.

Она не хотела назвать свое настоящее имя и назвалась вымышленным, под которым ее и зарегистрировал, тараща на нее глаза, грубый полицейский; потом камера с деревянной скамьей, первая в ее жизни; какая-то пожилая женщина обыскала ее; потом ее повезли куда-то в закрытой машине, и наконец, быстрая, ошеломляющая судебная процедура, пугающе холодный взгляд судьи.

«Нелли Фитцпатрик. Агент Эмундсен, восьмой полицейский округ».

Подруга, обучавшая ее уличному ремеслу, предупредила Мэдлейн, что, если ее поймают и арестуют, это может стоить ей нескольких месяцев заключения в каком-нибудь исправительном заведении; она плохо поняла, что это такое и как там исправляют. Ясно только одно: ее хотят лишить свободы и тех немногих, пусть жалких, вещей, которые она могла назвать своими. И вот это случилось, она в когтях закона, и некому защитить ее.

Сыщик дал показания, какие давались уже сотни раз в таких случаях: он обходил район и она стала приставать к нему, как это всегда бывает.

Так как никто не предлагал взять Мэдлейн на поруки, судья оставил ее под стражей до окончания следствия; следствие показало, как и надо было ожидать, что ее жизнь станет лучше, если применить к ней некоторые исправительные меры. Ее никогда ничему стоящему не учили. С пьяницы-матери нечего спрашивать. Несколько месяцев пребывания в каком-нибудь заведении, где ее обучат полезному ремеслу, — лучший для нее выход.

Итак, сроком на один год она была отдана на попечение монахинь ордена Доброго Пастыря.

IV

Холодные голые стены этого заведения угрюмо возвышались над одним из самых унылых и неприглядных районов города. Северный фасад его выходил на мощный двор, а в отдалении виднелся скалистый берег стремительного пролива и высокий маяк. К востоку — тоже скалы, по-зимнему серые воды реки, а над рекою жалобно кричат чайки, и их

заглушает протяжный вой бесчисленных пароходных сирен. К югу — мрачные угольные склады, вагоноремонтные мастерские, каменные коробки домов.

Дважды в неделю сюда привозили приговоренных к исправительным работам правонарушительниц всех возрастов: тут были «дети», как Мэдлейн, «девушки» от восемнадцати до тридцати лет, «женщины» от тридцати до пятидесяти, «старухи» от пятидесяти до самого преклонного возраста; их доставляли сюда в плотно закупоренном ящике, похожем на большой цирковой фургон, с маленькими решетчатыми отдушинами под крышей. Внутри вдоль стенок тянулись жесткие, голые скамьи. Тут сидела представительница Городского управления исправительными заведениями, угрюмая, немолодая особа, и с нею полицейский, детина таких невероятных размеров, что один вид его вызывал недоумение: зачем столько ненужного багажа? Пропадая от скуки, он то и дело поглаживал большой рот красной волосатой ручищей и вспоминал о минувших днях.

Самим заведением управляла мать начальница и тридцать монахинь упомянутого ордена, все весьма искусные, каждая в своей области: в кулинарии, домоведении, стирке, закупках провизии, вязании кружев, воспитании детей и прочих хозяйственных делах.

В здании было четыре крыла, или отделения, для каждой из четырех названных групп. У каждой группы была своя мастерская, столовая, спальня, комната отдыха. Только в церковь сходились все вместе; в этом большом, высоком, озаренном свечами, пышно украшенном помещении, с алтарем посередине, ежедневно, а нередко и два или три раза в день происходила служба; узкий шпиль, увенчанный крестом, виден был из окон почти всех мастерских. Кроме за-

утрени, ранней и поздней обедни и вечерни, часто по вечерам и в праздники бывали еще дополнительные службы. Для набожных это, пожалуй, было утешением, для неверующих же утомительно и скучно.

Всегда — и в часы работы, и в часы однообразного отдыха — на все падала мрачная тень неумолимого закона, его карающая рука чувствовалась во всем: в строгом распорядке, внешнем благолепии, в рабском послушании, заменявшем здесь раскаяние. Пусть голоса монахинь звучали ангельски кротко и шаги их были легки, пусть они всегда были учтивы, ровны в обращении, разговаривали наставительно-мягко — за всем этим стояла мрачная сила, которая могла вернуть любую из их подопечных в грубые лапы полиции, предать их жестокому, неумолимому суду.

Страх перед этой силой был для нарушительниц закона или его жертв куда убедительнее любых недовольных или укоризненных взглядов и смирял всякую их попытку возмутиться. При всем своем желании они не могли забыть, что они здесь по воле закона, который насильно удерживает их в этих стенах. Порядок, мир, тишина и спокойствие, царившие здесь, — все это само по себе было неплохо, подчас даже утешало, и, однако, самая основа этой жизни явно была двойственна и противоречива: с одной стороны — неумолимая власть закона, с другой — елейные, прекраснодушные увещевания монахинь.

Мэдлейн, наивная и неопытная девочка, видела и чувствовала только одно: грубую, жестокую и слепую силу закона — или самой жизни, — силу, которая никогда не дает себе труда спросить как и почему, а только распоряжается людьми, не зная милосердия. Словно испуганный зверек перед свирепым врагом, она могла думать только о том, как бы ускользнуть и спрятаться в каком-нибудь темном

уголке, укрыться в тайнике, таком крошечном и незаметном, чтобы огромный, безжалостный мир не стал бы преследовать ее.

И монахини, особенно те, у кого она была в непосредственном подчинении, ясно понимали, каковы могут быть сейчас ее мысли и настроения.

Они понимали это, потому что за долгие годы немало таких, как Мэдлейн, прошло через их руки. И хотя закон предписывал строгость, они по-своему заботились о ней. Она была кротка и послушна, и им оставалось только одно: заставить ее забыть пережитые страдания и обиды и поверить, как верили они сами, что жизнь не всегда жестока и несправедлива и что не все пути заказаны и не всюду царит зло.

Они внушали ей, что не все потеряно, что для каждой из заключенных, и даже для нее, еще есть надежда начать жизнь сначала — и может быть, эта жизнь будет много лучше прежней.

V

Сестра Агнес, ведавшая шитьем в безукоризненно опрятном, но мрачном, как сарай, помещении, где стояла сотня швейных машин, сама прожила не слишком счастливую жизнь.

Отец ее умер, когда ей было восемнадцать лет, и она вернулась из монастыря, куда отец отдал ее учиться, желая оберечь от царившей в доме нездоровой атмосферы; дома ее встретила мать, светская дама, чей образ жизни девушка не могла ни понять, ни тем более принять. Безнравственность, лживость и самодовольная праздность так же быстро опостытели ей, как опостылела Мэдлейн улица.

Очень скоро она почувствовала, что не в силах больше выносить такую жизнь, и бежала из дому;

сначала она попыталась жить самостоятельно, но тем, кто не способен на грубые, подчас постыдные уловки, этот мир предоставляет лишь скудный заработок и безрадостное существование; потом, измученная своими бесплодными попытками, Агнес вернулась в монастырь, где она провела свою юность, с намерением самой стать воспитательницей. Но после суровых испытаний, выпавших на ее долю, жизнь в монастыре показалась ей слишком тихой и мирной, и она попросила, чтобы ее перевели в Дом Доброго Пастыря; в этом заведении она впервые почувствовала, что приносит пользу.

Начальница Дома, мать Берта, часто прохаживалась по отделениям и беседовала со своими подопечными, расспрашивая каждую о ее прошлом; прежняя жизнь самой матери Берты была еще более горестной, чем жизнь сестры Агнес. Она была дочерью владельца обувной мастерской; отец ее разорился, мать умерла от чахотки; брат, которого она нежно любила, запил и сбился с пути, потом тяжелый недуг свалил его, и он умер. А затем смерть отца, которому она отдала лучшие годы, крушение всех надежд на личное счастье — все это заставило ее отвернуться от мира, и она постриглась в монахини, надеясь, как и Агнес, что в стенах монастыря ее жизнь будет не такой пустой и бесполезной. Ее радовало, что есть к кому привязаться, что благодаря ее заботам несчастные девушки возвращаются к жизни. И с этой мыслью она изо дня в день обходила мастерские, следя за тем, чтобы работа заключенных была не слишком тяжела и надежды тех, кто еще не перестал надеяться, не были обмануты.

И однако, важный, строгий вид монахинь, непривычная одежда — серый бумажный передник, серое шерстяное платье, простые грубые башмаки — и гладко зализанные волосы, обязанность подыматься

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Прибежище. Перевод Е. Турковой	7
Рука. Перевод Н. Роговской	45
Цепи. Перевод Н. Высоцкой	74
Святой Колумб и река. Перевод Т. Кудрявцевой	113
Условности. Перевод К. Тверьянович	157
Кат. Перевод К. Тверьянович	186
Буря. Перевод А. Килановой	219
Старые места. Перевод К. Тверьянович	262
Золотой мираж. Перевод Норы Галь	299
Брак — для него. Перевод А. Килановой	342
Удовлетворение. Перевод К. Тверьянович	359
Победа. Перевод А. Килановой	388
Тень. Перевод К. Тверьянович	416
«Милосердие» Господне. Перевод Е. Матвеевой	445
Царевич, который был вором Перевод Е. Матвеевой	470